



Не-немка

Мать – 50 лет, таймлайн - конец 70-х

Дочь – 16 лет, таймлайн – конец 70-х

Женщина – 50 лет, выросшая Дочь, наше время

ЖЕНЩИНА:

Мама сильно сдала. Чем старше становится, тем больше разговаривает на немецком, забывает русский язык. Все время вспоминает какие-то истории, которых никто не знает, которых не рассказывала никому, пересказывает их то ли себе, то ли кому-то воображаемому, я уже перестала слушать. В девичестве у меня была фамилия Рейнгард. Сейчас у меня русская фамилия. Как у мужа. И у дочери во всех документах написано «русская», и я русская уже, наверное, на самом-то деле, а что там в паспорте написано – глупости и теперь туда правда никто не смотрит. Эту историю она мне рассказывала несколько раз потом, после того раза, мне было 16 лет, и я хотела изменить в своем свидетельстве о рождении национальность на настоящую, хотела быть немкой. Забавно, сначала истории рассказывала она, а теперь, мне столько же лет, как ей тогда, и их начала рассказывать я.

[Дочь. На полу перед ней лежит распечатанный конверт, из которого торчит смятое письмо. Она оборачивается к аудитории, будто на звук, смотрит на конверт, в отдалении два портрета молодых женщины и мужчины, в дальнейшем разговаривает так, будто ведет диалог с Матерью, но слышны только ее реплики].

ДОЧЬ:

Привет, мам!

Что?

Ничего я не удумала, что ты... я получу паспорт и все.

Свидетельство меняю, да. И твою фамилию беру, там должно быть написано все.

Это необходимая процедура.

Мам, слушай, ну пожалуйста, я не понимаю.



Мария Терно «Не-немка»

Откуда там эта чешка взялась, вот что! Папа немец и ты немка, мы говорим на немецком, так в чем проблема?

Я в любом случае поеду в институт, с любым паспортом.

Я уже не могу слушать эти сказки! Я взрослый человек, мне уже 16 лет, я могу сама выбирать. Да и всем давно плевать, на то, что как-то немец, а кто-то русский, а кто-то чех, господи, тут вообще хоть один чех есть, кроме меня?

Это было давно! Все другое!

«Мы» - это кто, немцы? Как мы можем быть другими, другими по сравнению с кем? Я не понимаю тебя, мама.

Lieben Herrgott (лива гархот)! Послушай, я оспорю свидетельство о рождении, потому что ни ты, ни папа не чехи...

Зачем? Зачем это было нужно? Послушай, ладно, я понимаю, что раньше было по-другому, что тогда было страшно, *наверное*, но сейчас-то другое время, и нет ни единой причины бояться, причем непонятно чего, потому что я поеду в институт в любом случае. Ты ведь этого для меня хочешь?

Я не пойду против того, кто я. Я росла с этими традициями и людьми. И я не понимаю, почему ты так против.

[Дочь обращает внимание на портреты.]

Кто это? Это бабушка, Муда Мари?

Такая молодая... А рядом кто?

Ты никогда не показывала мне эти фото. Никогда не рассказывала ничего про него. И Муда Мари тоже.

МАТЬ:

Фотокарточку сделали в 38. Или это был 37? Память все больше стала подводить. Последняя их с мамой, да и, наверное, первая. Я ее только и успела выхватить и спрятать, когда за нами пришли в 41, чтобы увести.

Мы жили в Крыму, на берегу у моря, нас было пятеро детей, я младшая, отец и Муда Мари. Отца два года спустя убили. А за что? Отец, твой дед – он умный был! Закончил университет, настоящий, не знаю какой, знал четыре языка, ездил в Германию несколько раз, до нас с Муда Мари, еще до революции, потом уже, конечно не ездил никуда. Я и для себя хотела такого, и для тебя. Я знаешь, когда училась в школе здесь уже, единственной немочкой была в



Мария Терно «Не-немка»

классе, всегда старалась и училась лучше всех, у меня списывали постоянно. Но по русскому у меня всегда была тройка, что бы я не сделала. Вот так вот. Но это уже неважно.

В то время многих наших соседей немцев арестовывали - их выводили прямо из домов, за ними бросались жены, все мы такое видели хоть раз. Все плакали поначалу, а потом уже и не плакали даже. Вообще такой тишины, как в те времена я никогда не припомню. Идешь по улице, вроде и взрослые ходят, и дети играют, а так тихо все, будто бы боятся и шелохнуться. Вот и я захожу в тот самый вечер домой, а там – тишина. Все уже вернулись из школы, брат и сестры, а ни звука не слышно. Так странно было, тишина с улицы заползла к нам в дом. Мамы дома нет, она пошла в контору, недалеко от нашего дома была, чтобы позвонить отцу в школу, он учителем там работал, и задержался на два часа как, а тут еще и тишина эта, страшно всем. Мы впятером сидели и ждали мать.

Помню, что мама пришла поздно, зашла в комнату будто постаревшая на лет десять, серое лицо. И тоже молчит! Заметила нас в темноте, махнула дрожащей рукой, и ушла на кухню. А я ведь маленькая была, не понимаю ничего, только думаю: «Ну, а папа где? Чего махать?» Бегу за ней и кричу:

«А папа где? Мама, ты же за папой ходила?». А она разрыдалась прямо там, на кухне, как только она могла, протяжно, заунывно всхлипывая, ты помнишь, какая она была. Я сама тогда чуть не расплакалась, меня Леон просто из кухни увел и все. Он завел меня в комнату к сестрам, они все обернулись на нас, и я тогда поняла, что случилось.

Для нас по-настоящему тогда все и началось. Мать все тюрьмы обошла, которые были поблизости, нас с собой, всех пятерых, тоже брала, когда думала, что тут уж точно будет отец - боялась, что второго свидания не дадут. А я боялась тех, с кем нам приходилось говорить, боялась людей в очередях, их лиц, но все равно ходила. Прошел год, а мы даже и близко не знали, где он. Сказали, что арестован, и все тут. Мама никогда не разрешала даже подумать об этом при ней, но я слышала, как Леон один раз громко и зло прошептал старшим сестрам, пока мама не слышала, что он вообще мертв уже, поэтому мы напрасно теряем время. При мне он тоже этого не говорил, я подслушала как-то. Я не верила ему, с папой должно было быть хорошо. Это же папа! Он никому ничего плохого не сделал, а значит и с ним ничего плохого быть не могло!

В какой-то момент мы отчаялись и бросили искать, я пошла в школу, маме надо было работать, чтобы прокормить всех нас, и ни у кого не было ни



Мария Терно «Не-немка»

времени, ни сил, чтобы днями стоять в этих страшных тюрьмах в огромных очередях, чтобы снова и снова получать только отказ.

Однажды, через полгода где-то, к нам домой приехал молодой парень, почти мальчик. в форме. Все испугались, когда мать открыла ему дверь. Я обняла ее за талию, и вся-вся прижалась, не хотела, чтобы еще и ее увели. Но парень и сам был напуган, оглянулся, когда заходил в дом, опустил на меня взгляд, очень быстро, и лицо его смягчилось. Мать пропустила его молча, он так же молча прошел на кухню, сел за стол, снял ботинок, и из носка достал какую-то маленькую измятую бумажку, отдал матери и стал ждать, пока она прочтет. Он по-прежнему был напуган, быстро сказал, что все устроит и всех проведет – я не понимаю ничего, а мать закрыла рот рукой, прямо чуть не по стенке сползла. Она отдала бумажку парню, а тот ее разорвал. Сказал завтра с утра быть готовыми. Это оказался тюремщик отца, представляешь. Оказывается, того увезли аж в Симферополь, на другой конец Крыма – конечно, мы не могли его найти. Мама подняла нас еще до рассвета утром, и мы вместе с этим парнем поехали туда, где был отец.

Я не знаю, как ему удалось договориться с тюремщиком этим, да я и не задавала таких вопросов. Потом отец на свидании сказал, что он тут работает переводчиком с самого ареста, привозят, говорит, значит, разных, а помощь нужна. Нет-нет, он по-прежнему был заключенным! Просто, наверное, помощь им нужна была, я не знаю.

В общем, это было осенью, с ареста больше года прошло. Тюрьма была большая, больше, чем все, в которых мы бывали до этого, и впервые мы прошли так далеко, обычно, нас не пускали дальше каких-то пропускных пунктов или кабинетов, а тут мы шли мимо настоящих камер. Там было тихо, темно и душно. И мы, шестеро нас и парень этот, создавали такой грохочущий шум своими шагами, что казалось, можно оглохнуть. Отец был в самой дальней, и нам пришлось пройти весь этот длинный коридор, прежде чем нам открыли камеру, в которой он был. Я никогда не забуду, как он посмотрел на нас, и я вырвала свою руку из вспотевшей и ослабшей маминой, и бросилась к нему, налетела, а он поднял меня на руки и так крепко-крепко обнял, и я обняла его.

Отец был чистым, на нем была хорошая форма, только похудел и побледнел немного. Я не помню, что он там говорил матери, наверное, говорил он недолго, потому что этот парень, который привел нас, он постоянно напоминал о времени, и о своем присутствии здесь, и никого больше не подпустил к отцу, только меня почему-то. В конце концов он сказал: «Ну все, время вышло». И тогда отец бросил эту фразу матери, которую она потом со страхом вспоминала всегда:



Мария Терно «Не-немка»

«Мария, уезжай, войны не миновать». В 39 году!

Тюремщик начал выталкивать нас из камеры, но я не хотела отпускать отца, просто вцепилась в его шею. Он уже и сам начал меня отталкивать. Сказал, что встретимся скоро. А я плакать начала, но тихо, чтобы отец не заметил. Он заметил, конечно же. Парень продолжал кричать про время, схватил меня за платье, и начал тянуть, порвал мне его...

Папа больше ничего не сказал, и мама молчала всю дорогу домой. Мы никуда не уехали, а война и правда началась. Папу убили, а нас закинули в вагон, как какой-то скот, и отправили сюда, в Казахстан. А что он плохого сделал им, а? Скажи мне, чем заслужил? А мы чем заслужили? Можешь сказать? Вот и я могу, только не скажу.

ЖЕНЩИНА:

«Вот и я могу, только не скажу». Она тогда хотела сказать, что это потому, что мы немцы. Ее отца убили без вины, просто за национальность, их потом сослали, не дали учиться, поэтому она так хотела этого для меня всю жизнь. Эту историю она мне рассказывала несколько раз, каждый раз с новыми деталями. Я будто открыла в ней какой-то гештальт, что ли, все время в ней была эта обида на все на свете и, главное, непонимание, как так вышло. Она портреты даже эти, которые годами прятала, заставила меня потом над ее кроватью повесить, в какой-то момент, когда стала совсем сдавать, почти перестала вставать. Я до этой истории не думала о немцах так, как она.

«Немцы» для меня были немецким языком, что я учила в школе, и на котором говорила дома. Немцами для меня были мои дяди, тети, папа. Но для нее были и другие «немцы», которые страдали лишь потому, что их смешали со злом, которое убивало, насиловало, поджигало, проигрывало войны – с совсем отдельными, другими. И ее отец, невиновный, погиб лишь из-за своей национальности. И от этого она хотела меня уберечь. Мы ведь, и он, не были этими этим злом.

Но для меня после ее рассказа все изменилось, я увидела тех, других немцев, которых не видела раньше. Но все же, сама история деда, она странная. 4 языка, и простой учитель. То, что он в Германию ездил – тоже, это не было так уж распространено, я проверяла, а он жил не в Москве или Петербурге, а где-то на окраине страны. Я потом пыталась найти хоть какие-то записи, университеты, где он мог учиться – и ничего. До сих пор не могу понять - от чего его увезли именно в Симферополь? Простого учителя? Его фамилия даже близко не фигурирует ни в каком из списков. Более того – он работал там еще, в тюрьме, да еще почти два года. Мне и тогда, в 16, и сейчас, неясно как это могло произойти. Не странно ли? Странно. Но что еще страннее? Я очень жду

Мария Терно «Не-немка»

каждый выпуск "Реабилитированных историей", где печатаются списки убитых и посаженных в тюрьмы. В четвертом томе нашла деда папы, а когда вышел том с фамилиями на «Р» - там не было маминого отца, вообще, хотя мама говорила, что его реабилитировали в 56. Я связалась с издательством, а они знаешь, что мне ответили? Что это значит, что дело больше не находится в пределах крымского архива – переведено в Москву.

Позже, когда я выходила замуж, и приехала знакомиться с русской семьей мужа, подслушала разговор на кухне, между какими-то его тетями. Они сказали что-то вроде: «Они нашего папу на войне убили, а теперь он на ней женится».

И правда. Существовали ли мы, отдельные немцы, от тех, других, убийц, палачей? Мама ведь даже жила в одно время с ними, я уже, конечно, в другое. Сначала я об этом не думала, потом мне казалось, что да, мы другие, не можем другими не быть, в конце-то концов, мы сами страдали! Но затем я думаю о том миллионе погибших людей, безвинных, и всех тех не состыковках, которые постоянно замечала в ее рассказе, и на маленькую долю секунды в моей голове позорно мелькает мысль – а может, они не были не правы на его счет, что, если они убили миллион, ища шпиона, и нашли его? Если он и был этим злом, о котором пишут в учебниках истории и показывают в кино? А что, если «мы» действительно убили их отца на войне, а? Мне не хотелось, чтобы они были правы в своей осуждении, в ссылках, в запрете на учебу в институтах для нас – из-за него ли одного? Иногда мне казалось, что так.

В шестнадцать мне казалось, что я не смогу отделить себя от языка и культуры, в которой живу, тогда как я отделию себя от истории, которую эта культура сотворила? Потом мне казалось, что я не смогу жить с этой предательской мыслью о том, что мой собственный дед был причастен к этому, потому что в сознании людей мы с ним были одним.

А сейчас я думаю, что там в паспорте написано – глупости и теперь туда правда никто не смотрит. И фамилия у меня теперь русская. И во всех документах у дочери написано - «русская». И я уже, наверное, русская.